

Владимир Зенкин
Страха нет,
Туч!



«Страха нет, Туч! Неимоверности любви»:
ИРИС ГРУПП; Москва; 2011
ISBN 978-5-452-00136-2

Аннотация

Перед Вами — сборник повестей и рассказов Владимира Зенкина, в котором тесно переплелись фантастика, романтика, удивительный юмор и утонченная эротика.

В этих разноплановых и разножанровых произведениях, собранных под одной обложкой в книге «Страха нет, Туч!», есть одно объединяющее начало — образ Женщины — всегда такой разной, но неизменно интригующей и прекрасной.

Женщины из этих произведений способны на все — они творят чудеса, переносятся в прошлое и будущее, взрывая ко всем чертям вашу спокойную жизнь и ввергая вас в поток ошеломительных событий.

Эта книга сулит вам настоящее наслаждение от захватывающих сюжетов и необычного и сочного авторского слога, благодаря которому фантастический мир с его необычными обитателями воспринимаются нами как новая захватывающая реальность.

Владимир Зенкин Страха нет, Туч!

Неимоверности любви



Сидоров и ночь Городской миф

Есть многое ...

Вильям Шекспир

*Всякое, случившееся с
тобою, уже с кем-то когда-то
случалось. Мир стар.*

**Утешительная, хотя
небесспорная истина**

Дальнее предисловье Легколюбивный обманчик

Девятнадцать лет и два месяца вспять от Событий возвращался Сидоров домой с вокзала. Возвращался один по ранне ночному городу. Он провожал восвояси загостившуюся двоюродную тётю Иллаиду со сворой близнят-отпрысков: с реактивными шестилетками Алоизом и Филиппом да с десятилетними жеманницами-любознайками Джудитой и Евпраксией. За месяц гощения в отчем доме Сидоровых произвелось высокодецибельных жизnezвуков и скоростных телодвижений больше, чем за весь его прежний век.

Надо ль говорить, что наслаждение тётиним отъездом, тщательно прятимое за умильные мины

(«Ах, да и куда вы торопитесь! Ах, да погостили бы хотя бы еще бы!..»), приближалось к экстазу.

Замечательно было и то, что гостей провожал он один, мать с отцом удачно не поместились в ночном разбойном такси.

Вообразите, коли сможете, что превосторгнет тот сладостный вздох, отпущенный вослед красному фонарю уменьшающегося вдали поезда (Да будут голубы и нежны рельсы под ним, да не иссякнет солярка в стальном желудке его, да охранит его Господь от любых каверз в пути!).

Итак, Сидоров возвращался по освещенным фонарями улицам, упиваясь вновь вернувшимся душевным покоем, незыблемой тишиной, полной грудью отчерпывая вкуснейший июньский воздух, уже свободный от пыльных, гаревых сует дня, уже крепленый загадочными настоями цветущих акаций и сирени. Сонные лбы одноэтажных домов являли дружелюбное равнодушие. Над крышами в пенных облаках барахтался младенец-месячишко.

Сидоров издали увидел одинокую женскую фигуру посреди улицы. Женщина стояла в красноречивом ожидании. «Кого?» — спросил себя Сидоров. «Тебя», — ответил себе. Нервно хмыкнул, но не насмехнулся над собою за нелепицу ответа. Шаги его не замедлились, но стали вязкими. Воздух погустел, заслоился от вдруг снизившегося неба, а месяц благоразумно плюхнулся в облачко.

Молодая женщина была чрезвычайно красива. Это обстоятельство сразу разрядило и углупило ситуацию, потому что сам Сидоров был отчётливо некрасив и знал это. «Не для тебя... Уф. Жаль... Слава Богу!».

Но женщина сделала шаг ему навстречу, грациознейший шаг-вызов. Прохладные глаза-аквариумы с мерцающими рыбинами. Улыбка, способная остолбенить стадо бешенных гамадрилов. Торжественных чернот, нефтяных взблесков свергающаяся на плечи лавина волос.

— Остановись, — сказала женщина. — Куда ты? Разве ты не видишь?

Голос её был виолончельно низок, бархатист.

— Зд... Здравствуй... те, — под её взглядом стремительно стёр суть-себя Сидоров, озабоченно запревращался в кого-то другого, кого-то киношно-дискотечного, более годящегося к такой встрече, — Как оно?.. ж-жизнь? Воздух-то... воздух-то, а!.. объеденье. М-м. Что ли проблемы какие? Не могу ли помочь ч-чем?

— Мне одиноко.

— М-м... вы... т-ты серьёзно? Чудеса, а? Это не сон? Ты настоящая? Можно потрогать? Хы-ы. Как-то всё... Пустая улица. Ночь. Странно. Вы заблудились, да? Проводить... т-тебя?

— Мне одиноко.

В тёмных аквариумах из-под ресниц

неведомые рыбины зажемчужились лукавой, греховой лаской.

Сидорову было двадцать два года. Обширным любовным опытом он похвастать не мог, в особенности, в его практической, прикладной части. Но мужчиною он, бесспорно, являлся. И нашлась, нашлась штормовая сила, разумеется, нашлась, взметнулась жаркая, тугая волна, хлопнулся опасливый омельчавший рассудишко, и швырнуло Сидорова без лишних слов-междометий к ночной незнакомке. Но она быстро прервала поцелуйную истерику, вывинтилась из объятий, потянула его за руку.

— Не здесь, что ты, глупенький. Пойдём.

А обещанье было в улыбке!.. У-о-ох, обещанье!

Мда... Похоже, всё-таки что-то слегка чрезмерное в улыбке было обещание. Да. Конечно. Слишком всё-таки через край, водевильно легковато, не в меру сладко-чудесно в улыбке ему обещалось. И глаза и звучанье лица, при пристальном рассмотрении, определённо тоже были чуть-чуть слишком, слегка через, малую малость сверх. Самый крохотный, самый капелечный пережим. Но помилуйте, какие там психологизмы, какие, к чертям собачим, физиономические анализы, какая там пристальность в таком запале! Верил в диковатые

чудеса Сидоров. В двадцать два — ещё верил.

Незнакомка повела Сидорова (О, как нежно подрагивала её узкая ладошка в его ладони!) через калитку, по асфальтовой тропе, над которой всплескивалась ветерком вырезанная из свежей черноты яблоневого листа, к крыльцу безмолвного дома. Печальный запах маттиолы — ночных бледных страстных цветков — бродил у крыльца.

В доме была совершеннейшая сгущённая тьма. Дразнящая ладошка ввела Сидорова в большую, душноватую комнату, большую, лишь по интуитивному ощущению пространства; очертания комнаты тонули во мраке. Окна, по всему, были завешены плотными шторами, виднелись, как размытые фиолетовые пятна. Стены комнаты, будто призрачно колыхались, будто осмысленно наблюдали Сидорова, будто эфемерными выдыхами слали ему своё одобрение либо укор. И ещё сложное, нелёгкое месиво запахов плыло в комнатном непроглядье. Пахло обильным съестным, коньяком и богатыми винами, тонкими духами, женской и мужской кожей, недавно просохшей краской, новой мебелью и коврами. И особенно — этот дух пригибал, но не проглатывал всё остальное — каким-то изысканным, волнительнейшим дезодорантом.

Тут бы и призадуматься Сидорову вслед своим почувствиям. Но то ли сутенёр-дезодорант

его окончательно одолел, а верней, горячая близость незнакомки, её льющиеся меж пальцев волосы, её плечи под тонкой блузкой, её губы, которые он неловко ловил и не мог изловить во мраке.

— Сейчас, сейчас, настойчивый ты мой, шёлковым шепотом сказала она, угодив наконец в его очумелые объятия, — Сейчас, мой ночной разбойник, — погладила по щеке, по волосам, развела у себя за спиной его руки, — Я сама!.. Ты сам!.. Скорее!.. — лёгким дуновением пальцев коснулась, приказательно коснулась его рубашки. И отскользнула...

Боже, каким невыносимо медленным показалось Сидорову себя раздеваньё! Какими неуправимыми, узкими, коварно запутанными были предатели-рукава, подлецы-штанины, как сволочно вцеплялись в пятки, прикидывались кожей ног сдираемые носки! Как нетерпеливо, непривычно дрожали его руки!.. А мысль о том, что она рядом (Рядом!) и сейчас (Сей! Час!) делает то же (ТО! ЖЕ!), пульсно билась в его звонкий череп, высекала фейерверкные искры и радужные круги.

Смутная тень её то приближалась, то удалялась. Он уже взялся за плавки, она остановила его руки, нежно подняла их вверх, отступила в сторону, во тьму, и зачем-то хлопнула в ладоши...

В тот же миг всё вокруг взорвалось бешеным

светом.

Рогатая люстра под потолком — ослепительная зверюга, электрический хам — вывернула мир светоизнанкой, опрокинула суть его, разбила вдреизг, в абсурд все понятия и почувствья.

И продравшись сквозь световой обвал, с трудом прозрев, Сидоров увидел ужасающую картину.

Комната была полна народу. Люди сидели за длинным, празднично накрытым столом, стояли у стены, таились в углах. На столе красовались сильно початые закуски, весьма отпитые выпивки.

Люди, как один, пялились на него и смеялись, хохотали, хихикали, ржали, хрюкали, кудахтали, икали, взрыдывали от смеха, утирали весёлые слёзы, складывались втрое от хохотных конвульсий, падали на колени, изнеможённо обнимали друг друга.

Деревянное изумление Сидорова медленно проходило. Он оглядел, осознал себя, стоящего посреди зала. Под ногами валялись скомканные брюки, рубашка, туфли, носки. Ой, было же, было над чем хохотать! Как глупо, как гнусно купиться! Каким оказаться кретином! Слава Богу, хоть плавки оставил!

«А где же она!.. та... где она, эта мерзавка! Такой дешёвый спектакль! И он!.. Где же она, эта тварь, куда подевалась!? Уб-бить!..»

Когда досада и обида Сидорова дошли до опасной, аварийной черты, все почувствовали это, хохот поредел. К Сидорову дружелюбно подходили гости, вывернули, подали штаны и рубашку, помогли их одеть. Сочувственно улыбаясь, женщины помогли застегнуть пуговицы, поправили складки, пригладили волосы. Мужчины понимающе хлопали по плечам: — Не обижайся, дружище. Ну разыграли по нотам. Ну что поделаешь — клюнул. Да что там, любой бы из нас клюнул. Такая приманка! Без зла, без зла. Чистая хохма. Ну ты молодцом! Сразу в бой. Саме-ец! Мужчина! Доказа-ал! Чуть-чуть не предъявил самый главный аргумент.

И притянули Сидорова полунасильно к столу, и выпил он со всеми первую-вторую-третью рюмку, и уже не глупо отвечал на шутки, и понемножку рассосался в горле крапивный ком обиды и раздражения, и даже уже почти понравиваться стала ему эта бесцеремонная компания.

Но виновницы своего весёлого позора он так и не увидел. Озабоченно крутил головой, взглядывал на всех входящих в комнату, нетерпеливо ожидал, боялся. Ночная обольстительница пропала. Спросить про неё у соседей-застольников так и не решился.

Сидоров встретился с ней перед самым своим уходом. Расходились многие из гостей. Она вошла в

комнату проводить их и сама спокойно приблизилась к нему. В свете она была совсем не такой, как на улице. Какой — он не мог объяснить себе. Проще? Старше? Конкретнее? Всё в ней было, кажется... Но чего-то всё-таки не хватало. Того магнетизма улыбки? Той завораживающей грации? Облеска глаз? Чёрт знает!..

Она примирительно протянула ему руку: та же, совсем та же охлаждённая ладошка; но улыбнулась не так, серьёзно, почти строго, как учительница ученику.

— Не обижайся. Я-то тебя узнала больше, чем они, — кивнула на гостей, — В тебе раздор, высь... Жаль, что... Счастливо. Не помни меня.

— Буду! — вдруг по-детски засердившись, буркнул Сидоров, даже неловко, грубовато убрал свою руку, — Буду! Имею право!

Ночной город. Дорога домой. Вздрагивающий хрустальный воздух. Купающийся в облачной пене месячёнок.

«Почему ты живёшь, Сидоров? Откуда ты? Для кого? На кой всё?..» Ароматная прохладная тоска во всю грудь...

Ближнее предисловье

Сон

За девять с половиной дней до Событий

приснилось Сидорову замысловатое. Якобы, плыл он через тёплый океан на необъятном лайнере. Плыл он в страну, о которой страстно мечтал в детстве. Мечтал столь благовосторженно и смятенно, что даже и теперь, спустя ворох взрослых лет, поминать все имя этой страны ему было как-то неловко. Он и не произносил имени, он просто включал в себе её детское ощущение и освечивался ощущением, как ёлочной наивной гирляндой.

Он знал, что такой гирляндовой страны в действительности не существует. Существует реальная, серьёзная, взрослая страна с таким же именем, которая, может быть, лишь в мизерной степени напомнит собой его игрушечную придумку. Он понимал, но не пугался этого, он уверенно плыл туда, не сомневаясь, что доплывёт.

И ещё он понимал, что всё-таки это сон. Что в яви ему по всем раскладам не очутиться в этой стране. И никогда не побородить океана на столь аховом корабле. И сам океан, не то, что тёплый, даже холодный, ему сомненно, что доведётся когда увидеть.

По этой причине Сидорову было крайне интересно происходящее с ним. Он стоял на палубе, разглядывал через борт свинчато-голубую медленную воду, провожал взглядом стерильно белые зарубежные облака, а respectable

солнце ненавязчиво светило ему в затылок, клало на воду чёткую его тень: голову и плечи, мелко возвышенные над громадной тенью корабля.

Сидоров беспечно смотрел на две эти сросшиеся тени — живого и неживого — как вдруг обнаружил, что океан под ними что-то стал не таким, как надо. Вернее, там, собственно, уже и не было вовсе никакого океана, а была пустота, кораблевидный тёмный проём. Сидоров оторопело вглядывался в него, а проём становился всё черней и враждебней. И вот лайнер, качнувшись, потеряв равновесие, стал крениться набок, заваливаться в ту черноту.

— Э-э!.. Враньё-ё! Про-очь!.. вопил Сидоров лайнеру, проёму и себе. — Э-эй! Это же только тень! Тень на воде. С ума вы, что ли!.. Ничего не может случиться, я обязан доплыть! Эа-а!..

Но проём не расколдовывался и молча, медленнотягуче, как и полагается во сне, принимал в свою пасть изящную громаду корабля со всем содержимым и Сидоровым на палубе.

Нестерпимо жалко стало Сидорову — не себя, пропадающего в проёме, не беспомощного лайнера — той нежной, совсем уже близкой страны, до которой он, очевидно, не доплывёт. Не испугавшись, но разозлясь на нежданную каверзу («Тьфу ты, Господи! Даже во сне не может сбыться безоговорочно!»), он бросился к

противоположному, облитому солнцем борту. Он бежал, а палуба вставала, вздымалась перед ним гладкой бездушной плоскостью, всё круче и круче, и бежать было всё трудней и трудней. Но добежал, дорвался он, вскочил на борт, что нашлось сил, оттолкнулся, прыгнул вперёд-вверх.

Он летел над кораблём и проёмом и с зашедшимся сердцем видел, как корабль окончательно сорвался вниз, в черноту, и без всплеска, без звука сам сделался чернотой.

А полёт Сидорова продолжался по странной пологой дуге, и Сидоров отчаянно пытался дугу эту ещё «уположить», достремить до края черноты, до кромки проёма, до границы взбесившейся тени от корабля, которая проглотила корабль и готова была проглотить последнего его пассажира.

Но вовек бы ему не миновать проёма, если б не внезапный помощник. Какое-то причудливое растение заспешило ему навстречу. Он падал, а гибкие стебли с узкими стрелчатыми листьями упреждали падение, торопились, выпрастывались из светлой воды. Он ухватился за них, как за вожжи, и растение отдёгнуло его от чёрной пропасти, выбросило на чистую, живую водную зыбь.

Сидоров падал на воду, но упал почему-то на золотистый побережный песок, не удивился этому, а спокойно встал, огляделся.

Счастливым воплем вырвался из его груди. Он увидел окрест безошибочно ту свою сокровенную, долгожданную страну. Он увидел её всю насквозь, всю сразу, все её города, всех людей её. Она была неопишимо красива, много красивей, чем он когда-либо мог себе вообразить. Она была улыбчива и умна, многотайносна и доступна, взыскательна и доверчива. Он почувствовал себя дома, более дома, чем здесь, никогда ему не чувствовалось.

Он расправил плечи, налившиеся лихой силой, сорвался с места и побежал вперёд, в своё обрётённое счастье.

Но почему-то шаги его были чересчур гулки и тяжелы, каждый шаг — чугунный удар о землю, о небо, обо всю страну... Каждый новый шаг — тяжелей, чугунней предыдущего. Он пробовал остановиться, опомниться, но уже не мог, и всё вокруг вздрагивало под его сокрушительными ногами. Ещё несколько шагов-потрясений — и вся страна, со своим безмятежным небом, землёю, травую, золотистым песком, со своими весёлыми, яркими городами и всем-всем, стала сплошь трескаться, словно разбитое ветровое стекло, осыпаться осколками и цветной пылью. Сидоров бежал по осколкам, докрашивал их, вопя уже не восторженно, а отчаянно, больно; бежал сквозь гущу стеклянных, кирпичных, стальных развалин,

загородивших горизонт...

Наконец развалины кончились, открылось ровное, голое поле без живой травинки, посреди поля стоял старый родительский дом Сидоровых, а на крыльце сидели давно умершие отец с матерью.

— Не реви, — строго сказал отец, — Что-то ты сделал не по законам своей души. Где-то ты себя предал. Хочешь попробовать еще раз? Сначала.

— Неужели можно начать жизнь сначала? — удивился Сидоров, — Что? Я опять маленький?..

— Можно, — вздохнул отец, — Но только за счёт других жизней.

— Чьих?

— Твоих детей. Внуков.

— Но у меня нет детей.

— Должны быть, — нахмурился отец, — Когда-нибудь будут. Решай.

— Нет. Не согласен, — сказал Сидоров, — Прощайте. Простите меня.

Он повернулся и пошел назад к берегу океана.

— Сынок! — кинулась вслед ему мать.

— Мама.

— Очень важное!.. очень... Будь не готов, сынок.

— К чему, мама?

— Так лучше... теплее. А то опять не услышишь. Не завидуй. Обозляться не смей. Не всё так, как хотелось, да?

— Да. Не всё, мама. Всё не так, мама. Наверное, я слишком много хотел. Недостойно много. Вот и... Жаль.

— Не оглядывайся. Не ты виноват.

— И я, мама.

— Бойся, чего боялся. Люби, что любил.

Надолго оглядываться нельзя.

— Мама! Ты серьёзно? Что именно, мама? Скоро?

— Не выходи себя. Будет...

— Откуда ты знаешь, мама? А, ну да.

Он на ходу обернулся, чтоб махнуть им на прощанье рукой, но дома и родителей уже не было. И развалин вокруг уже не было. На берегу океана росло то длинное, гибкое растение, которое спасало его от проёма. Оно предостерегающе протянуло к нему ласковые, уютные ветви-вожжи. Но он мягко отстранил их, миновал растение, спокойно вошел в пенную воду, отбросив назад дно ногами, поплыл.

1. «Хватит на сегодня сюрпризов!»

Внук Лидии Львовны Дэн выпархивал в люди. Выпорх обещал состояться сегодня вечером с экранов телевизоров. Подающего теленадежды Дэна впервые выпускали в эфир с репортажем об элитно-собачьей выставке стафоршертерьеров. С этой счастливой вестью он и забежал утром к жарко

любимой «грэндма». С вестью и благородным намерением слегка облегчить тяжесть свежеполученного бабушкиного пенсионера.

Сидоров плавно столкнулся с ним в коридоре, уходя на работу.

— Здравс-с-сь... светским кивочком «а ля князь Андрей Болконский» восприветствовал его Дэн, — Как поживаете? Как поясница, не ломит, отлегло? Пищевареньице? Ах, и славно. Успехи в труде? Оч-чень рад! Просто оч-ч...

— Премного благодарю-с, — в лад ему реверансировал Сидоров, — А у вас какво на телеолимпе? Скоро ли? Общественность нестерпимо жаждет-с...

— Нонеча в двадцать три — двадцать. Одна из моих улыбок — вам. Вы угадаете какая. Вы — умный.

Со своей квартирной соседкой Лидией Львовной Сидоров поживал вполне мирно и просто. Но с аполлоноидным внучком её что-то у него не заладилось. Стенка учтиво-ядовитенькой неприязни без внятных причин росла и толщилась, и оба они берегли эту стенку.

Слишком разны были они. Молодой, оборотистый атлет, не ведавший ни в чём тяжких препятствий удачник Дэн, любитель и любимец шикарных женщин, вхожий в апогейные круги общества, знающий себе цену: цену достаточную,

чтоб притязнуть на неубогое место под солнцем. И Сидоров — отсреднённый представитель среднейших узкоплечих слоёв населения, уже после-молодой, хотя ещё и до-старый, битый и мятый жизнью, обросший давними замшелыми комплексами, обладатель широких залысин и узенького оклада инженера в бессекретном конструкторском бюро; мужчина из подвида мужчин, на которых никогда с рассеянным интересом не оборачивают на улицах взора мимохожие дамы.

Да, Сидоров был умный. Поэтому встреча с Дэном заметно подпортила ему настроение.

Но привычное время дня — жидкая, бескомковая каша мелких заботок, событийек, дельц была выхлебана им непечально и быстро.

Возвращаясь домой, Сидоров зашёл в хозяйственный магазин купить электролампочки. Вчера перегорело их сразу две: в туалете и в настенном бра в комнате. Из купленных четырёх стеклянных груш три были нормальны, а четвёртая с какими-то белесами и сиреневой на стекле. Поразмыслив, Сидоров вернулся к прилавку, чтобы обменять её. Но молоденькой веснушчатой продавщицы не оказалось на месте, она принимала товар: новые Южно-Корейские микроволновые грелки-простыни с программным управлением. У прилавка уже роилась очередь, жаждущая данных

замечательных грелок, а так же утюгов, кофеварок, фенов, дрелей и прочих электропричиндалов. Очередь смотрела на Сидорова без нежности, уподозрив в нём желающего пролезть без очереди, а лампочку в его руках, как отвлекающий камуфляж.

Продавщица в заприлавочных недрах пересчитывала цветные коробки, торчать в ожидании перед бдительной очередью Сидорову наскучило и он махнул рукой. Авось, послужит хоть сколько-нибудь белесый мутант.

Около магазина стоял стройный, осанистый, но небритый старик с бледным коршуниным носом, глазами-болотами, с огромным синяком во всю скулу и играл на саксофоне Моцарта. Рядом валялся раскрытый драный футляр с нещедрым монетным сбором.

Сидоров задержался, послушал, стараясь не смотреть на музыканта. Полез в карман за кошельком.

— Хочешь фокус? — досчатый скрип: голос старика, прекратившего играть.

Сидоров недоуменно-сочувственно повернулся к нему, выдавил против воли, — Х-хочу...

— Дай лампочку, — старик царапнул взглядом портфель Сидорова.

«Откуда знает?» — удивился Сидоров, но достал из портфеля стеклянную грушу. Старик

вынул её из четырёхстенной картонки, деловито осмотрел.

— Сотняк.

— Не понял, — не понял Сидоров.

— Сотняк, говорю. Гонорар.

Месячная зарплата Сидорова составляла шесть «сотняков». Он собрался повернуться и уйти, но что-то в старике остановило его. Что-то властное и куражное было в трясинах глаз. То и дело выныривали из трясин цепкие иголки-взблески.

— Согласен, — совершенно неожиданно для себя сказал он, — После фокуса.

Старик небрежно усмехнулся, распахнул рот, засунул туда лампочку. Раздался глухой хлопок и хруст пережёвываемого стекла. Старик старательно разгрыз осколки, проглотил, вернул Сидорову цоколь и вновь открыл рот, демонстрируя его пустоту и невредимость.

— Зачем вы?.. огорчился Сидоров, — Неужели больше нет выхода?

— Деньги, деньги, денежки, деньжата, деньжатки, деньжаточки... ненаглядные, проклятущие. Окхо-го!.. кривлянно, бравируя пошлецкой, заподмигивал, задёргал бровями старик, — Мно-ого денег. У-о-оч-чень премно-о...

— На что?

— Люблю. Та-ак! Так просто. А ты? Кхе-ге-хгке!..

Посмех-поскрип: древние, разболтанные, едомые червём половицы на сгнивших лагахтяжкие каблуки по ним.

Старик не был пьян. Старик был нормален. Старик обезьянничал для него. Злил его. Зачем?

— Зачем?

— Нет выхода? Выход? Есть! Выход есть, выход есть, есть выход... е-есть, выход есть. Это же выхо... А-апчх!.. — с изжёванных губ слетала слюна. В глазах прыгало притворное колючее веселье. Старик был нормален.

— Кому? Куда? Зачем? Выход? — терпеливо успокаивал его Сидоров, удивляясь себе, отчего он стоит, не уходит.

— Не мне же! Пацан! Гхе-ги-гекх!.. — возмущённый вскрип-взвизг: распахнулась дверь с век не смазываемыми петлями.

— Извините, — сказал Сидоров тоном профсоюзного активиста, — Если вы имеете сообщить что-нибудь дельное — будьте любезны. В противном случае... Вся эта клоунада мне уже как-то на...

— Он! — вдруг лязгнул чугуном старик и скорбно прикрыл глаза, — Это он. Ну наконец... Не бойся. Ты это. Всему время, всему. Понимай!

Сидоров попытался разозлиться на старика. Не смог. Получилось — стать озабоченным.

— Спасибо за содержательную беседу.

Тороплюсь, извините. Позвольте откланяться.

Он вложил в костлявую вздрогнувшую руку две сотни — половину своих наличных финансов, немалым усилием воли оттащил себя от несуразного музыканта, втокнул в людское уличное течение. Но успел почувствовать лопатками уколы усмешечек, всплывших из голубых глазничных болот: «Э! Куда ж ты торопишься, Сидоров? Куда торопишься?.. Неужели ты куда-нибудь ещё не опоздал?»

В попутном гастрономе Сидоров приобрёл не особенно свежий батон, пол-кило сосисок молочных и пачку сигарет «Космос». На этом внедомашние события дня были исчерпаны.

Запортилась погода. Похолодало. Небо обросло суконными тучами, взыграл шквалистый ветер. По тротуару носился цветной бумажный мусор, пыль в асфальтовых выбоинах то и дело взвевчалась винтовыми вихрями, красиво поворачавшись на месте, прыскала в стороны, в волосы и глаза прохожим. Сидоров вспомнил утренний радио-прогноз, обещавший категорическое «тепло и ясно». Что ж, на то он и прогноз, чтобы не сбываться.

Дома Сидоров в охотку сполоснулся под душем, сварил и с удовольствием съел четыре сосиски с горчицей, выпил два бокала отменного цейлонского чая. Удалившись в свою комнату,

включил проигрыватель, поставил любимую пластинку Поля Мориа, рассеянно послушал, вытянувшись на диване, и неожиданно задремал.

Когда проснулся, уже стемнело. За окном разбойно свистел усилившийся ветер. В дверь стучала Лидия Львовна.

— Митя! (Да, Сидорова звали Митей.) Тебя чего не слышно? Уже спишь?

— Да вот, ни с того ни с сего... — открыв дверь, почему-то смущённо сказал Сидоров, — Надо же... Вечером меня никогда не тянуло в сон. Очевидно, перемена погоды, магнитные бури.

— О-ой, ветер, как с цепи сорвался, — соседка была расстроена, — Митенька, извини, конечно, у меня с телевизором что-то. А скоро будут показывать Дэна. Ты разбираешься.

В комнате Лидии Львовны на экране старого «Рубина» скакали сатанинские световихри, снежная пурга и серебряные кляксы-амёбы.

Сидоров разбирался в телевизорах на йоту больше, чем в клинописных летописях царя Ашшурбанипала. Но задумчиво покрутил все доступные ручки настройки, перенажал все наличные кнопки, покачал штеккер антенны, постучал по корпусу, постоял, похмыкал, поскрёб возросшую за день щетину на подбородке.

Последнее помогло. Электронная нечисть вдруг сгнула с экрана, и выключился

журчливогоголосый поджарый диктор.

— Слава Богу! — засчастливилась Лидия Львовна.

— Ничего не трогайте, — удивлённо-ответственно предупредил Сидоров.

— Митенька, я приготовила яблочный пудинг. По случаю. Ты просто обязан... Никаких «спасибо». Никаких «поужинал».

Отношения их с Лидией Львовной были нецеремонны. Иногда слишком.

Хороший сосед ближе плохого родственника — нет спора. Сидоров являлся хорошим соседом, но всётаки не более, чем соседом, по собственному его разумению. Лидия Львовна же благосердечно, но не совсем ненавязчиво пыталась «осыновить» или, на худой конец, «оплемянничить» Сидорова. Сопротивляться этому было сложно.

Девять лет подселенской жизни в двухкомнатной квартире с шестиквадратной кухней и коридором, в котором не разминуться двум хорошо питающимся дамам, их действительно приучили друг к другу.

Лидия Львовна была относительно одна. Сидоров был один абсолютно.

К Лидии Львовне периодически, с заметно возрастающими периодами, заходила дочь — железнодорожный ревизор, с мужем — железнодорожным ревизором; а так же,

преимущественно в пост-пенсионные дни, единственный и неповторимый теле-внучек Дэн.

К Сидорову не заходил почти никто почти никогда. Хотя... Однажды давно... Очень давно (да и было ли то вообще, вдруг — примерещилось?) к нему зашла... с ним, с ним зашла его свежезарегистрированная жена. И на полгода в квартире и в душе Сидорова възгрянул ад.

Жена оказалась не чета Сидорову, деловой и нахрапистой, она сразу заявила, что квартира будет целиком их и затеяла ветвистую комбинацию по отселению Лидии Львовны. Ей предложились облезлая комнатуха меньшей площади, без удобств, в аварийном доме на краю города. — Ну так что, аварийный, вы ведь и сами, лапочка моя, уже аварийные. Да и зачем вам удобства, милейшая моя Лидуся Львовна, ведь сколько вам там осталось-то, а? Ангелочек вы мой! А мы денежки заплатим, хорошие, живые денежки. Ах, не согласны вы, ах, драгоценненькая моя! Зря-зря-я... Ну труднёшенько тогда вам отломится жить со мною, ох и труднёшенько... Сами, ненаглядная, запроситесь, сами, без денежек.

После дрызгнутого, но спасительного развода Сидоров долго не мог впрямую смотреть в глаза Лидии Львовне. Но постепенно трещина эта заросла, несчастье это даже теснее сблизило их. О новой женитьбе он пока не помышлял, к

натуральным женщинам притягался не слишком. Нет, не по убеждению, хотя разводный синдром — острый и ржавый гвоздь — накрепко засел в нём. По неумению, скорее. По мнительности. Да и по небогатству же. И возраст, кроме всего прочего. Что там не говорите, а сорок один — не двадцать один, даже и для мужчины.

Дожёвывая третий кусок совсем недурного яблочного пудинга, Сидоров вдруг услышал шум падения и стекольный звон где-то на балконе. Встревоженно поспешив в свою комнату, открыв балконную дверь, он увидел наглядный и поучительный результат своей бесхозяйственности. Сколько раз он собирался укрепить вихляющую ножку у старого шкафа с раздвижными стёклами. На его полках размещалась уйма всяческой дребедени: от пустых цветочных горшков, от коробок с гвоздями-шурупами до прошлогодних журналов и безнужных, забытых брошюр. И вот один из диких порывов бокового ветра накренил неустойчивое сооружение, ножка окончательно подломилась, и шкаф со всем содержимым грянулся об пол, вдребезги разбив свои узорные стёкла.

Искренне чертыхаясь, ругая себя и зловредный ветер, Сидоров поднял шкаф. Вместо погибшей ножки временно приспособил банку с белой эмалью, заготовленной для надвигающегося

ремонта. Собрал с пола, рассовал по полкам всё, чему полагалось там быть. Веником стал сметать в совок осколки, досадливо прикидывая, в какую копейку, по нынешним временам, встанет замена таких стёкол. Сочувственно поохав, потоптавшись, Лидия Львовна ушла к себе.

Закончив работу, вернувшись в комнату, заперев балконную дверь, он ещё раз оглянулся на оставленную снаружи ветренную темень. Внимание его привлёк маленький клочок какой-то серебристой ткани, зацепившийся какой-то своей ниткой за какой-то случайный заусенец потрескавшейся краски на оконной раме. Клочок трепетал на ветру, но улететь не мог. Сидоров поразглядывал его через стекло, подивился турбулентству воздушных токов, нашедших неведомо где эту тряпичку, закинувших её сюда, на восемнадцатый, предпоследний этаж да умудрившихся ещё и зацепить её за что-то. Ткань заняла его своим текучим блеском, подозрительным тонким вычуром.

Он опять открыл балконную дверь, вышел, достал клочок. Ткань была почти невесома, легко расплзлась под нажимом пальцев на жемчужные волоконца. Откуда она? Обрывчик чьей-то прихотливой одежды? Впечатленный след лунного зайца, пропрыгнувшего через глыбы туч? Ткань уж никак не проста, что-то в ней чудилось эдакое.

Что-то знакомое-незнакомое, никогда не виденное, но странно узнаваемое самыми дальними, необитаемыми, каменистыми пустынями памяти, какой-то случайной зацепкой, точкой-кочкой этих пустынь. Что это? Что бы значило? Философичное созерцание Сидорова прервал особо освирепелый порыв ветра в незакрытую дверь. Гибкий воздушный кулак ударил его в грудь. Жалобно вздрезжали оконные стёкла. Затем кулак разлился на пальцыструи, оплеснувшие комнату, сметшие со стола всё бумаги, уронившие на пол нераспечатанную пачку сигарет, покосившие настенный бра, вспузырившие шторы. Ина излёте, выплёскиваясь наружу, они выхватили из его беспечных пальцев виновную тряпичку, унесли её винтомвверх, в клубящуюся тьму.

Осторожно заперев балконную дверь, Сидоров задёрнул шторы, собрал бумаги, поправил, включил бра и выключил верхнюю люстру. Шафрановый меланхоличный свет слегка успокоил его. «Да глупости всё, какой там смысл! Что-то как-то не так... Кривлянный дурацкий вечер. Ветер — дурак, кривляка. Клоунствующий, себе на уме, стариканище. Лидия Львовна со своим теле-внучком, как с писаной торбой. Разбитый шкаф. Вздорная тряпичка. Нелепицы... Нелепые люди. Нелепые вещи. Мысли ненадобные. Разброс, неуют в душе... Всё! Ладно. К чертям! Хватит на

сегодня сюрпризов!»

Как ошибался он. Главные сюрпризы нынешнего замысловатого вечера были впереди.

2. «Митенька, откуда ж она?»

Полчаса полувнимательного получения. Попавшийся под руку, размешанный в тюрю детектив.

Извинительный постук-поскреб в дверь. Лидия Львовна. Нешуточные перемены. Взбитые голубо-седые волосы. Торжественное платье-клумба. Капающие с ушей свежаянтарные серьги. Прихорошена, празднична. Расстроена вдрызг.

— Митенька, опять!..

— Что, Лидия Львовна?

— Даже звук пропал. Сплошной снег и полосы. Дэнчик... Через пятнадцать минут. Митенька, я должна посмотреть!.. позарез... Ну, что за напасть, ой, Господи!

На сей раз телевизор упорно игнорировал, все манипуляции Сидорова и страсотерпные взгляды Лидии Львовны.

— Похоже, что-то с антенной. А комнатной нету у вас.

— Откуда, Митенька?

— И у меня нету. Плохо. И мой телевизор —

сами знаете, второй месяц уже... и даже проверить нельзя. Мдэ. И, раз антенна, значит, во всём подъезде...

— Спрошу, — Лидия Львовна хлынула к лестничным соседям. Через минуту вернулась, скорбью лица подтвердив ужасную истину.

— Ну да, ветер там что-нибудь сдвинул. А может, и не у нас. Может, на студии? Да нет, скорее всего... Все же каналы не работают.

Лидия Львовна опала на глазах, как октябрьская липа. Ещё бы. Столько готовиться к счастью телевидения своего околзвёздного внука. В столь именинный шик себя привести. Подлец ветер. В такой момент! Перед самым восхитительным в мире собачим репортажем.

— Ну не убивайтесь вы так, — осторожно, словно тяжко больному, сказал Сидоров, — Не последний же раз он выступает.

— Но первый, Митенька. Первый! Это событие. Я ждала два года. Я ждала сильнее, чем он... сильнее, чем все! — в глазах её заблестели слезы.

Этого Сидоров уже вынести не мог, ринулся в прихожую, распахнул дверцу чулана, быстро стал доставать отвёртку, плоскогубцы, разводной ключ, нож, фонарик...

— Митя! На крышу? С ума сошёл? Такой ветер...

— Не ураган же. Да он уже утихает.

— Я запрещаю тебе, Митя! Это риск. Митя, ты слышишь?!

— Утихает ветер. Я же не буду подходить к краю.

— Митя, кому я сказала?!

Но Сидоров уже вышел на лестничную площадку, взбежал два пролёта на последний этаж, поднялся по железной сварной лестнице к квадратному люку на крышу. Вместо замка проушины крышки люка схватывались скрученной, подержавленной от времени проволокой. Отпустить проволоку, поднять крышку люка было делом минуты.

Ветер, слегка и унявшийся, был ещё достаточно силен и резок. Над крышей-палубой, окаймлённой мощными бетонными парапетами, с возвышающимися посредине двумя большими серыми кубами — макушками лифтовых шахт, с орешеченными кирпичными кубиками — окончаньями вентиляционных стволов, куражилось кудлатое небо. Дом был самым высоким в округе, и небом было всё, что не было крышей, и небо виделось ненормально близким, громадным, неправдашним.

В небе шла быстрая возня сонмов коротких туч, тучек, облаков, облачков, дымок, туманов; они подтекали друг под друга, расплёскивались ветром,

сбивались в комья, пенились и кипели. Они были самых разных тонов: от угрюмой чёрно-сини до светлого молока и светлейшей платины. Молоко и платину лил яркий лунный леденец через разрывы туч. Света было слишком много, он причудливо менял свою силу, угасал, тонул в тучах, выкарабкивался из них. По крыше скользили извивистые тенные химеры.

Сидоров с трудом оторвал восхищенный взгляд от небес и стал осматриваться. Свои действия он представлял очень смутно, на крышу он влез больше для очистки совести, чем для реальной, полезной работы.

Антенна стояла на возвышении, на кубе лифтовой шахты. Сидоров поднялся туда по небрежно сваренной из арматуры кривой лесенке. Здесь ветру не мешали бетонные парапеты, порывы его были резки и не так уж безопасны.

Антенна укреплена была прочно и монументально, она выдержала бы и тайфун. Сидоров бессмысленно попытался покачать её, постучал по трубе плоскогубцами. Разглядел коробку, в которую уходил кабель, а экран кабеля подключался к её нижней части болтиком. Коробку он открывать не стал, не имея ни малейшего представления о её содержимом. Но контакт экрана отсоединил, зачистил ножом, потёр куском наждака, так же обработал гнездо коробки и

соединил вновь. Это было нелегко, приходилось вставать на цыпочки, чтобы вытянутой рукой дотянуться до коробки, при этом другой рукой крепко держаться за трубу, чтобы не потерять на ветру равновесие. Поможет это, не поможет — больше ничего он сделать не сумел.

Сидоров с облегчением подошёл к люку. Остановился, подняв голову, ещё раз любовался на небесную фантазмагорию. Ещё раз мельком оглянул крышу. Внимание его привлёк какой-то светлый продолговатый предмет, лежащий в глубокой тени под парапетом. Как-то он сразу его не заметил. Со смутным предчувствием он подошёл ближе, включил фонарик... И вздрогнул. По спине сквознул мурашистый холод.

Под парапетом недвижимо лежала женщина.

* * *

— Э, брось, майор, ни зуди, ни хрена ты не должен. Сегодня я больше, завтра ты больше. На нет и суда нет. Всё — фигня, деньги — мразь, ненависть их, борись с ними. Деньги предадут. Женщины предадут. Друзья тож втихаря подотрутся тобой. Водка — ни в жизнь. Не предаст, не продаст. От водки ты, конечно, подохнешь, но подохнешь ты не от предательства её, а от любви, майор.

Слушь, ты и в самом деле майор? Не брешешь? Был майором? Был... А может, ты генералом был, а? Ты вспомни, майор. Да, представляю в парадном мундире, такого чмурика. Не обижайся. Сейчас мы оба станем фельдмаршалами. Вот она нас произведёт, царица. «Московская особая». «Особая», понял? Мы с тобой особые люди, майор. «Особисты». Где же нам с тобой приткнуться? А пошли вон за теми гаражами, на пригорке. Чтобы ни одна падла не мешала, не маячила...

Так о чём я травил-то? А, так вот, сдохнешь ты, конечно, майор от нежной любви к этой стеклянной даме с серебряной головкой. И на здоровье. Велика печаль. И я сдохну. Но маленькая разница, совсем ерунда. Я околею гора-аздо раньше. Совсем уже скоро. И не от дамочки этой, наполненной жидким сказочным наслаждением. Если бы от неё... Если бы. А? Знаешь, майор, такое: радионуклеиды. Радиоактивный стронций, цезий, плутоний, ниобий... Ага. Такие маленькие, весёлые, борзые ребятки в тебе сидят. Дружбаны твои на всю оставшуюся жизнь. Мно-огопремного. Сидят и жрут тебя изнутри, хавают, аж за ушами трещит. Снаружи не видать. А изнутри ты весь уже почти сожраный. Так... шкура помятая, черепушка побитая, мослы... Ещё шевелишься, правда... Ещё даже лыбишься и языком метёшь.

Хотя всё труднее и труднее шевелиться. Уже к середине дня коленки дрожат... в висках молоточки тарабанят. И пот... пот, липкий, вон-нючий... И тоска лю-ю-тая, майор! Слава Богу, водочка-подруга помогает. Даёт силы. Мысли запинывает подальше, на хрен...

Ну а то где же майор, а то где же! А то где же можно нашему цивилизованному гражданину заполучить от «ридной» державы-маменьки... А? Заработать подарочек. В утробу свою, в мясо свое, в потроха свои... А? Вес-се-елый шматок периодической таблицы элементов Дмитрия Ивановича! А?

Ну ты, майор, слушай, да дело делай. Стаканов нема? Плевать, давай из горла. Ну дак... Луковица — первейшая закуска. Щас мы её обчистим. От. Держи. В атаку, майор. У-о-о-а-а! Так. Годимо. Вторглась, ненаглядная. Не спеши, не спеши, майор, осмысливай процесс. Тут наука... спорт... и искусство. Толково бухнуть... Толково бухнуть — что красивую бабу соблазнить. Важны подступы. А? Предвкушения: ритуал, игра, шарм. Акт — короток и груб. Подступы — длинные и нежны. Премудрости любви, майор. Разумей.

Да очень всё просто, очень просто всё. Всё в соответствии. Благородно. Повестка. Военкомат. Срочные-пресрочные сборы. Рюкзачёк, поезд — ту-ту!.. Солдатская роба, керза — как родная, будто и не сымал никогда. Постановки задач.

Речу-уги-и!.. Красиво лепили, складно, мужественно. Все полковники, майоры, вроде тебя. Хотя нет, не вроде. Ты вон какой задвохлый, а те — бугайки были. Я тоже был бугайком. И мозги у меня были... соответственные. А иначе бы, я ту повестку — по назначению, в нужник.

«Да, мол, товарищчи!.. Беда, мол, товарищчи!.. Всенародное дело, мол!.. долг каждого патриота, мол!.. максимум усилий!.. Вам, никому окромя — самымрассамым! Родина верит-надеется, мол!.. Не забудет Родина, мол!.. Спасайте-рятуйте, товарищчи!.. Город! Страну! Евр-ропу!».

«Ага, понятно, да об чём разговор, само собой, сознательный ж контингент. Та як же! Приложим максимум... Ну дак! Любимый город может спать... расстараемся. Ага, а как насчёт уровня радиации? Просим пардону, конечно, а как, не слишком ли чревато ли? Благонадёжны ли «Срэдства Засчиты?»

«Това-а-рищчи! Та разве ж мы не порадели об ентом! Та разве ж подвергли б мы родных военномобилизованных серьёзному риску! Не извольте мандражировать, драгоценные вы наши! О! «Срэдства Засчиты?» О! Эхфекти-и-ивны! Всё предусмотреносхвачено. Не извольте очковать, возлюбленные вы наши герои! Всего-то несколько дней на объекте, неделька всего — тьфу!

Нет, доза, конечно, будет, ясное дело, не на

Гавайи прибыли, но ма-аленькая, крошечная такая дозка, совсем вот таку-усенький дозюнчик. Рассосётся за милую душу. Зато потом — льго-оты... Льго-отищи! Льготя-яры! Всё рассосётся! Три годика на солнышке не позагораете. Рентгеника не подделаете. Всё-пре-всё рассосётся!»

Вот так, майор. Рассасывается. Только не то, что надо. Я — рассасываюсь. Немножко уже осталось. Дай-ка подкурить, у меня опять потухла.

Да нет, майор, ты думаешь, я боюсь околеть? Ты думаешь, дорого мне это паскудство под юмористическим названием «жизнь»? Да хоть завтра — глубоко начхать и... поболее, чем начхать. Но. Две нитки, майор. Две нитки. Что ещё держат. Жена Танюха. Сын, двоечник Артём. Два волоска... Впрочем, кажется, я и их уже... похоже, что... Бухаю много, майор. Скотски много. Галюны уже. Мерещится гнусь. Страх. И самое поганое — никогда в помине не было — злоба находит — не сознаю себя. Злоба ... от слабости своей, от памяти, будь она проклята! Вспоминаю детство... детские сны... Оттого что я для жены уже не мужик, что уже «оно», среднего рода. А мне — тридцать шесть, между прочим...

Нет, не оправдание это, конечно... не оправдание. Сволота я... разрешаю плюнуть мне в харю. Короче. Что-то, как-то замкнуло меня, ударил

я Таньку. Не сильно, откуда у меня сила, но обидно. Она — вещички... с Артёмом — в Ребдинск к матери. Конечно, вернётся. Жалко ей меня. До зверючьего воя жалко. А для меня эта её жалость... Она не понимает. А может, и понимает. Что поделаешь? Чудес не бывает на свете.

Я тебе не надоел? Что-то я расслюнявился. Хлебнём-ка ещё, майор. У-о-о-а-а! Так. Порядок. Вроде, очеловечиваемся. А?

Насчёт чудес, это я, конечно, неправ. Бывают чудеса, бывают. Редко. И только в пьяном виде. Вот почему мы бескорыстно любим стеклянную даму, ты не согласен, майор? Тогда слушай сюда. Вчерашнее. Не поверишь. Правильно сделаешь. Мне нравится... ты конкретен, мужик, хорошо заземлён... мне не хватает... потому мы и с тобой здесь.

Короче. Давай напослед. Там как раз по глоточку осталось. А? Скажи, всё-таки пить в растяжку приятнее... свежее, содержательнее. А? Я неправ? Чем глушить сразу.

Ага, погоди, майор, о чём я? Чего я тебе хотел?.. А. Вчера... да-да. Вот оно... Короче. Заглотил я вчера две своих нормы заместо одной. Возвращаюсь, разумеется, почти четырёхкопытно. Вгрёбаю в лифт, ляпнул, как смог, по кнопкам — понесло. Этаж у меня восемнадцатый, предпоследний, а вскинуло меня на самый верх, под

крышу. Мне-то всё побоку... Вытекаю из лифта, размазываюсь по стеночке, в глазах бенгальские огни и амурские волны. Но кое-что узреваю. Вижу: люк на крышу открытый, а из люка спускается сосед мой по площадке Сидоров Митька. Человек он... замкнутый он какой-то, какой-то он всегда озабоченный, себе на уме... Мы с ним не шибко общаемся: «здоров», «как дела?», «до свидания»...

От. Ага. Ну спускается он, а на плече у него... Веришь, майор, так до конца и не понял я, что там лежало у него на плече. Нет, пьяный был, это само собой, ладно. Но его-то, Митьку, я видел почти нормально. Его. А то, что у него на плече... Как-то оно менялось быстро, ускользало, не поймать глазом.

Ч-чёрт знает!.. То, вроде, как огромная рыбина с блескучей чешуёй. То, вроде, как женщина в каких-то серебристых лохмотьях. То вдруг что-то, похожее на свёрнутую песцовую шубу. То, вообще, какой-то сноп белых искр, мерцаний...

Удивился я, никак не врублюсь, в чём дело, неужели опять галюны поймал?

— Митя, — грю ему, — Чтой-то за штуку ты волокёшь, где ты её откопал? Ты, что-ли, на крыше лунатизм осваиваешь?

Он буркнул сердито, невразумительно и прёт её по лестнице вниз, на наш этаж, бережно так,

аккуратненько рукой придерживает. А от неё, словно какой-то туманец, светлая дымка расходится. И меняет форму она самым причудливым образом. А может, с залитых шаров мне это всё мерещится. Пополз я за ним.

— Митя, — грю, невежливо с твоей стороны, поделился б секретом, где взял. Я, может, такую штуку тоже себе хочу. Может, там их на крыше навалом?

— Извини, Валера, — отвечает он, — видишь, что мне не до тебя. Ты сегодня уже готовенький, выпись, завтра поговорим.

Втащил он её к себе, хлопыстнул дверью перед самым моим носом, видно, был сильно не в духе.

Ну я покачался ещё у его двери, поразмыслил, ни до чего не домыслился и двинул в свою берлогу. Брожу по комнатам, перевариваю впечатления. Брожу-брожу и вдруг замечаю — что-то не то со мной. Как-то непривычно себя чувствую, что-то, как-бы утрачено важное и полезное. Совсем интересно стало: что же именно-то?

По причине впечатлений, я не сразу допёр. А когда допёр — ахнул. Трезвый я хожу по квартире. Трезвее стёклышка. Ни малейших признаков алкоголя. Куда девалось? Словно двадцать минут назад не меня мотало по тротуару, как волна щепку. Словно не я на карачках вползал в лифт. Словно не

я пластался спиной к стеночке, чтобы не упасть...

Любопытно мне, хотя и слегка досадно. — Ну и дела! — думаю, — Не иначе — неизвестный науке атмосферный феномен. Вот только, почему со мною? И на хрена он мне сдался?

* * *

Утром ей опять стало плохо, слабый румянец на щеках угас, глаза закрылись, она без сил откинулась на подушку, оплеснув её антрацитовыми струями волос.

— Напрасно не вызвали «скорую», посетовала Лидия Львовна, — Иди, Митя, звони. Мало ли что...

Сидоров озабоченно, но убеждённо покачал головой.

— Вы же слышали, что она говорила.

— Что говорила? Бессмыслицу. Бредила. Позвони, Митя, от греха...

Почему он не вызвал «скорую»? Всю ночь незнакомка была плоха: лицо — мертвенно, иссинь-бледно, губы — без кровинки, пульс еле ловился, дыхание — сбивчивое, мелкое. Он уже направился, было, к телефону, но она, словно почувствовала его намерение. С тяжким усилием поднялась на локте, повернулась к нему, открыла глаза.

— Нет! Никого! Никто не изме... — еле слышно, не справляясь с губами, прошептала она, — А ты... Огляни... Можно уже.

Глаза её были жёстки, непроглядны. С ней что-то происходило. Сложное. Постепенное. И произошло. Рассвет она встретила уже в благом покое, с глубоким дыханием, с розовеющими щеками и отмытым малахитовым взглядом.

А утром ей опять стало плохо, и взгляд её опять сделался смутен и дик.

— Не нравится мне, — с опаской поёжилась Лидия Львовна, — Митенька, откуда она?

— Вы же знаете, с крыши.

— С крыши... А на крышу откуда?

— Вот тут что-то несуразное, — помедлив, сказал Сидоров, На крышу с девятнадцатого этажа ведут два люка. Два подъезда — два люка. Наш. И соседний. И иначе, как через них, на крышу не попадёшь. Я открывал наш люк. Скрутка проволоки была пыльная, приржавленная, несвежая. Через наш люк не могли. Я думал, что через соседний... я уходил ночью, помните? Я не сказал вам, чтобы вас не растревожить. Вы человек мнительный, суеверный. Все-таки ночь — есть ночь. Но сейчас утро. Так вот, я ходил в соседний подъезд, поднимался, смотрел тот люк.

— И что? — почему-то шёпотом спросила Лидия Львовна и лицом заприготавливалась к

испугу.

— Тот люк тоже стянут проволокой. Такой же пыльной. Такой же давней. Такой же прижавленной. Вывод. Люки не открывались несколько месяцев. Если не год.

— М-митя, а?..

— Да, Лидия Львовна. Мне сдаётся, что она попала на крышу не через люки.

— Но ты же говоришь, что кроме, как через люки...

— Да. Нельзя, Лидия Львовна. Нельзя. С земли нельзя.

— Ой, Господи! Митенька, откуда ж она?

— Не знаю. Возможно, она сама скажет.

Подождём.

Незнакомка лежала на диване, облачённая в жёлтый клетчатый халат Лидии Львовны. Халат ей был трижды широк и сложился неровными складками по бокам. Её собственная одежда: изодранное, расплзшееся в лоскуты платье из серебристой ткани с ртутным бегучим отливом, той ткани, клочок которой Сидоров нашёл на своём балконе, сейчас висело на спинке стула. Не так — висело в воздухе, слегка облекая спинку стула. Каждый раз, когда Сидоров бросал на него взгляд, ему казалось, что платье настороженно уменьшается, подбирается во внимательный комок, тускнеет в ответ на его беспокойство и скоро

исчезнет совсем.

Так женщина пролежала ещё полчаса. А потом с неё быстро, подозрительно быстро, будто чьим-то решением, чьей-нибудь чёткой волей, стекла слабость и бледность. Она подняла голову, села, с уверенным любопытством огляделась.

— Вот и всё, — сказала она с грустью, но без печали, — Не думала... Ты. Не думала, что так трудно. Всё — там уже, позади. Ты.

— Д-да. М-м, — приоробел, подтянулся под её взглядом Сидоров, — Всё позади. Простите... что позади?

— Про... Впрочем... Уже не важно. Важно, что ты.

Правильно. Как же так?.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, напрягшись для смысла её лоскутных фраз, ответил Сидоров, Как вы себя чувствуете?

— Я доставила вам хлопот.

— Пустяки.

— Деточка, ради Бога, что с тобою случилось? — изнемогала от любознательности Лидия Львовна, — Как ты попала на крышу?

Незнакомка подняла на неё полные сил отстоянные глаза.

— Спасибо. Вы хорошая женщина. Я хочу, чтобы вы спали спокойно ночами.

— Деточка, мы всё понимаем, не унималась

Лидия Львовна, — Это что-нибудь неприятное для тебя? Не бойся, теперь тебя никто не обидит. Но... мы всё-таки тебя нашли, можно сказать, вернули к жизни. Может быть, ты нам... Это не слишком большая тайна?

— Не слишком, — незнакомка убавила глаза ресницами, но вдруг мелькнули там жёлтые нешуточные искры.

— Ты попала на крышу через люк?

— Нет.

— Ну-у... а-а... по верёвке какой-нибудь?

— Нет.

— Сверху? — сладко ужаснулась Лидия Львовна, — Тебя спустили с... вертолёта?

— Нет.

— Ой! А-а-а?..

— Прогал, — жёлтые искры всплывали, становились острее, опасней, — Откуда же ещё. Прогал! Не поняли. И хорошо. А там... Там!.. — снизился голос, словно изогнулась в нём стальная пружина, — Хотите и про это узнать? Хотите!? — какая-то — издалека странная боль, какое-то резкое отчаяние, прихлыв вспомненного, что-то вовсе невыразимое — чужая стихия сдула яркий покой губ, покрыла их матовым пеплом. И с лица отлетели уют, румянец, и лицо стало фарфоровой, хрупкой, нечеловечески красивой маской.

— Ну ладно-ладно, какая разница, — разрядил

обстановку Сидоров, — Главное, всё обошлось. Вы живы-здоровы. Вы здесь. Мы — ваши друзья.

— Нет! — звонко сказала незнакомка.

— Нет?

— Мало. Ты мне не можешь быть другом.

— Почему? Помилуйте...

— Потому что ты любишь меня. Страшной любовью. Почти ненавистью.

Сидорова ударило многовольтовым током. Он вспомнил.

— Да, Сидоров. Да. Нет, Сидоров. Ты ошибся. Но ты счастливо ошибся. Я сама была не готова. Была?! Меня не было, Сидоров. Никогда не было. Нет... Тогда лучше не верь. Был Прогал. И было... Не спрашивай, не знай пока. Я сама не знаю. Ничего не зря в этом мире. И в том... Ты во всём виноват, из-за тебя всё — спасибо тебе. Я тоже люблю тебя. Я тоже тебя ненавижу.

— Что? — закричал он, — Что? Я пойму! Говори!

Она остановила его лёгким жестом, вернувшись в глаза спокойным уютom, мирной улыбкой.

— Сидоров, моё имя — Та. Та!.. Та, Сидоров.

Тихонько скрипнула дверь комнаты Сидорова. Это Лидия Львовна выскользнула мяконькими испуганными шажками.

3. «Ощущай, не стесняйся»

Минула неделя. За это время они выходили из дома четырежды. Один раз, чтобы съездить в конструкторское бюро, где работал Сидоров. Та посидела на скамеечке в чахлам сквере, а Сидоров взбежал наверх, чтобы черкнуть заявление об отпуске за свой счёт, положить на стол начальнику и ринуться вниз, не дожидаясь согласия либо отказа.

Дважды — поздно вечером, чтобы прогуляться по остывающим от дневного зноя, продыхающимся от пыли и выхлопной гари улицам.

И еще раз... Сидоров опрометчиво выскочил воскресным утром в гастроном за продуктами, оставив спящую Та. Накануне прошёл дождь, и утро стряслось замечательное. Небо — высоченно, звонко-лазурно, словно не над городом, а над диким еловым бором, листва деревьев влажна, искриста, воздух свежетерпок. По лужам на тёмном асфальте прыскали солнечные зайцы.

Обходя свой дом, Сидоров подумал, что вот он видит эту умытую красоту, вдыхает её, а Та, бедняга, заперта в тесной комнате с окном в пустую высь, и только неболазурь, красивый цвет, но обидно единственный цвет, выдернутый из многоцветного мира, ей оттуда доступен.

И ещё заскребло Сидорова: вдруг в гастрономе очередина (а в воскресенье это почти верняк; а в воскресенье утром народу нечорта делать, он и пойдёт в гастроном за воскресной жратвой, а и поёрся уже, небось, опередив его; а гастроном — единственный на целую ораву многоэтажек) — и ему предстоит, может быть, час, может быть, больше, топтаться одному-единёшеньку среди беспонятных, говорливых, похожих на него инопланетян.

И она... она же тоже будет там одна, несусветно одна — кошмар! Да, смешно, но именно в этом состоял текущий кошмар и ужас. Они не вышли ещё из перволюбовного «штопора». Им не подчинилась ещё главная энергетика любви — разлука.

Сидоров задрал голову вверх, на свой балкон, остановился в сомненьи. Хоть бери, возвращайся... И чего было не подождать, пока она проснётся! Нет, конечно, возвращаться глупо, надо идти, есть совсем нечего. Они прикончили все запасы. Да он быстро, туда-назад. Он прорвётся без очереди, он придумает что-нибудь. Он...

Но Сидоров стоял и чего-то ждал, и достоял, и дождался. Над балконом восемнадцатого этажа мелькнула игрушечная головка Та. Он вздохнул облегчённо и обречённо, махнул ей рукой: жди, я скоро.

Но Та поняла его взмах по-своему. Секунда — её гибкая фигурка оказалась на балконных перилах. Секунда — она скользнула вниз, размывшись в лёгкую искристую струйку. Ещё две секунды — и она стояла рядом, насмешливо-невинно глядя ему в глаза. Одета в освоенные уже его джинсы и футболку, случайно оставшуюся от его давней краткосрочной жены: на бездумном сиреновом фоне — попугайская голова во всех цветах радуги.

— О, Гос-поди! — счастливо сокрушился Сидоров, отыскивая на дне живота своё сердце и поднимая на место, — Ты опять за своё, да? Ты обещала забыть!

Обещала?

— Мне показалось, что ты очень хотел меня видеть.

Я не права? Может, мне... назад?

— Права-права. Но этого нельзя! Милая... Средь бела дня! У всех на виду! Предел легкомыслия!

— Да они ничего не поняли.

— Ты хочешь, чтобы все узнали, кто ты?

— А пусть.

— Ты знаешь, что раньше делали с ведьмами?

— Хи... Двадцатый век — не пятнадцатый.

— Думаешь, люди стали с тех пор намного добрей?

— Привычней.

— Привычней! Всего лишь. Та, поклянись мне, что ничего подобного больше не будет. По крайней мере, на людях, днём.

Она подняла вверх два пальца в жесте виватприветствия.

— Клянусь своим помелом!..

— У тебя нет никакого помела! — рассердился Сидоров, — Прекрати валять дурака! И вообще, про это пора забывать. Ты прекрасно всё понимаешь. Это очень серьёзно. Если ты не...

— Хорошо, — тихо сказала Та, — Хорошо...

Конечно, они не пошли ни в какой гастроном и питались вечером, легко сладив с угрызеньями совести, продовольственными поставками Лидии Львовны, как то: рисовым супом, яичницей на сале из десяти яиц, полутора литрами смородинового компота и чёрствым резервным батоном.

Но зато они сели в автобус и отправились к реке.

Долго бродили по прибрежным лесным порослям, слушая сорочки трескучие свары, постуки дятла, воробьиную чирико-канитель; разглядывая восхищённо-блаженненько всё, что попадалось на глаза: колонну рыжих муравьёв-проходимцев, никчёмно очаровательные цветочки в траве, зелёную гусеницу, бездарно прикидывающуюся кленовым отростком и даже невыносимо умилительный отлёт «божьей

коровки» с поднятого пальчика «на небко».

Добрели до кишашего жареным людом пляжа. На лодочной станции попросили лодку... собственно, попросить не успели, лодку (причём, не с вёслами, как другим отдыхающим, а с мотором) им сам суетливо предложил дежурный верзила-спасатель, едва Та скользнула о его глаза взглядом. Уплыли на дальний островок и остаток дня провалялись под благодным солнцем.

Сидоров впервые видел великолепное тело Та при ярком дневном свете. Оно ничем, абсолютно ничем не отличалось от человеческого... Сидоров нервно усмехнулся этой диковинной мысли. «От человеческого?» Здрате! Оно и было абсолютно человеческим, до последней своей молекулы. Это было тело его женщины, его любимой женщины... тело, которое он за неделю познал во всех ипостасях, тело, которое ему восторженно подчинялось и его без границ подчиняло. Оно было очень красивым. Оно было совершенно живым земным телом. Бессомненная истина.

Но истина и другое... слишком другое. Это полнокровное, полнострастное тело могло вдруг раствориться в воздухе, стать бестелесной дымкой... могло за секунду переместиться на сотни метров: вверх, вниз, куда угодно. Эта, на вид, обычная женщина могла свободно читать чужие мысли и без усилий подчинять других своим

желаниям.

Эта женщина из чего-то сверхфантастического, ирреального свалилась в этот мир, в его мир, персонально к нему, Сидорову... чьим повеленьем, зачем? он до сих пор не знал. А она сама знала? Она — суть кто? Уж точно, не продукт его помешательства: её ведь видят, с ней общаются и другие. А всё же?.. Воплощённая химера, фантазмагория, надчеловек, ведьма? Наверное. Может быть. Нет! Что-то здесь... Ему лишь тревожно, а не страшно и не отвратно от этих слов.

Ведьма? А что это такое? Кто знает? Кто объяснит?

Средневековые инквизиторы — теоретики от дыбы и «испанского сапога»? Изнывающие в ренессансных залах голубокровные спириты? Напичканные лубочными святыми сатиновые мышки-старушки у церкви? Ушлые бело-чёрные колдуны-колдунчики, современные шаманы-шарлатаны, прохиндеи-экстрасенсы? Сляпанные из спецэффектов, натужливой мистики, дебиломясницких, морговых композиций фильмы-«ужасти», их творцы-изошренцы? Кто?

Нет. Всё не так. Она не может сама не знать. Притворяется?

Она лежала на тёплом песке в полудрёме. Сидоров пощекотал ей пальцем шею.

— Ой! — вскинулась она удивлённо.

— Та, — навис над ней Сидоров, — Та! Я люблю тебя.

— Тебя!.. нежно всплеснулись её глаза.

— Та. Я опять... Извини. Я всё-таки должен...

Объяснимся? Почему ты не хочешь сказать?

— Глупый. Я люблю тебя. Больше этого сказать невозможно.

— Наверное, я глупый, Та. Наверное. Я хочу знать то, что мне не положено. Почему не положено? Кто не положил? Я имею право. Раз я тебя люблю... Это знание... так ужасно?

— Ничуть.

— Кто ты? Откуда?

— Я? Та. Что тут неясного? Та! Кого ты хотел всю жизнь видеть, любить. Ты ни на кого меня не сменил. Ни разу. Ни на миг. Сколько там у тебя было женщин. У тебя их нисколько не было. Кроме меня. Потому что во всех ты видел только меня одну. Я? Неутолённая твоя жажда, тоска... Если бы ты всерьёз узнал эту страшную силу!

— О чём ты?

— Заряд твоего однолюбья. Он копился два десятилетия, приготавливался. И вот...

— Что, вот!?! — Сидоров жестко, требовательно сжал её плечи, притянул к себе, — Говори! Ты откуда свалилась? Ты же не призрак. Не бред. Ты же живая...

Она улыбнулась странной улыбкой.

— Не бойся.

— Я уже ничего не боюсь. Кроме, как потерять тебя. Я уже терял тебя... тогда, в ту ночь. Мне это слишком дорого встало. Вот почему мне надо знать всё.

— Ах, Сидоров-Сидоров, наивный мой человек.

Пойми, что той нелепой ночью ты потерял не меня.

Я даже внешне на неё мало похожа.

— Неправда, — насупился Сидоров.

— Ты немножко забыл. Столько лет... И слава Богу.

Я — лишь некой частью она. Не главной. Одним из отблнков души. Коснувшимся тебя. Тогда. Случайно. А в остальном... Ну как тебе объяснить? Я — то, что ты к ней придумал. За девятнадцать лет.

— Ерунда какая. Придумал... Можно придумать миф, сказку, духовный образ. Но нельзя придумать живого человека из плоти и крови. Ты жива? Материальна?

— Как там учит ваш бородатый диалектический материализм. Материя — объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ощущаешь меня?

— Ещё как!

— Ну и всё в порядке. Ощущай, не стесняйся.

— Нет, дорогая моя, — шутливо погрозил он ей пальцем, — Ты не мути воду. Скажи, я уже шизофреник?

— Пока не чересчур.

— Тогда изволь объяснить прямо. Ты откуда? Ты кто?

— Опять — двадцать пять.

— Ладно, хорошо, допустим. Та, кого я хотел видеть, любить. Ужасно понятное объяснение. Я хотел видеть её — ту ночную женщину. Правильно. Я и ... любил её, до одурения — чего там... Если ты — она... ты как взялась вот такая? Ты тогда была старше меня. Тебе сейчас должно быть за сорок пять. Почему ты не постарела? А если ты — не она... Тогда, вообще, как всё это прикажете принимать? Я же не мальчик. И псих ещё не законченный.

— Уф! Путанник ты. И упрямец, Та сладко потянулась, перевалилась со спины на живот, поболтала в воздухе согнутыми ногами, отряхивая их от песка.

— Я жду ответа, — потребовал Сидоров.

— Что мне с тобой делать? — вздохнула она, Любознательный ты мой... Это я про тебя всё знаю. Потому что я — Та. Та. Которую. Про тебя. А про себя... Хочешь — верь, хочешь — нет. Туман. Догадки. Тени. Просто ещё не пора. Потом

прояснится. Потом найдётся, что и кому объяснить. Подождём, ладно?

У нас с тобой уйма времени. Но не будем его терять.

— Невозможно с тобой разговаривать! — сердито отвернулся Сидоров.

— Невозможно, как ящерица, юркнула она к нему, повалила его в песок, И не нужно. Есть же занятия поинтересней.

4. «Закапывай их, закапывай их, Люся!»

У полковника милиции Аскольда Софроновича Свяжского — начальника отдела по борьбе с организованной преступностью — сегодняшний воскресный вечер был обозначен минусом и плюсом. Вначале — минусом риска, неизбежного, хоть и сведённого к малу, но всё-таки риска. И только потом (помоги Бог!) достаточно увесистым плюсом — утехой за риск.

Сегодня в двадцать один ноль-ноль Аскольд Софронович, согласно уговора, получал «туесок» от своих курируемых. Он предпочитал это делать лично, не препоручая никому из близких: ни жене, ни взрослому сыну, частично посвящённым в курс дел. Он верил лишь в свой конспиративный талант, безошибочное чутьё ситуаций и врождённую осторожность.

Дело в том, что отважный полковник трудился сразу в двух учреждениях с не совсем одинаковыми задачами. В одном — громком и солидном — вёл успешную борьбу с организованной преступностью. В другом — менее громком, но не менее солидном — успешно помогал организованной преступности организовать. Он курировал одну из крупнейших фирм-«айсбергов», которая надводной своей частью занималась официально-коммерческой деятельностью на благо города и страны: реализацией горюче-смазочных материалов и автомобилей. Подводной же своей частью... Впрочем, тут перечень вышел бы несколько длинен, как известно, у айсбергов подводная часть сильно преобъемлет надводную.

Аскольд Софронович был крепкий профессионал, весьма полезный для обеих организаций. Ему неплохо платили в строгом доме-граните с золотогербовым входом. И чрезвычайно неплохо — в «айсберге».

Одним из простых и надёжных способов получения гонорара был «туесок». Почему он так его окрестил? Первый свёрток с долларами был оставлен в глупой круглой сумке с цветной расшивкой, смахивающей на старинный туес.

Место и время назначал сам Аскольд Софронович. Малолюдная городская окраина. Какой-нибудь рекламный щит, пустая будка,

одинокое дерево, забор, достаточно приметный с дороги и достаточно беспризорный.

Он подъезжал на несколько минут раньше, останавливался на противоположной стороне и из машины безучастно наблюдал. Секунда в секунду («айсберг» был пунктуален) подкатывал ободранный «Запорожец» («айсберг» был с чувством юмора), выходил мужчонка с сумкой через плечо и шёл, якобы по малой нужде, за условленный щит, будку или забор. Возвращался, естественно, без сумки. По растворению вдали «Запорожца», Аскольд Софронович разворачивал свою машину, покидал её и направлялся к тому же месту с застенчивым вдохновением человека, которому уж очень приспичило. Вот и вся механика.

И сегодня всё шло, как полагается, и ничего не предвещало ужасного сбоя. Аскольд Софронович в должный час позвонил по должному телефону и назвал место. Чёрт его дёрнул, выбрать именно это место! Воистину, судьба — индейка. Северный пригород. Скромная отвилка от магистрали, ведущая к реке. Двухэтажное здание швейной фабрички.

Четырёхэтажная «хрущёвка». Между ними — большой пустырь. Посреди пустыря — одинокий штабель бетонных фундаментных блоков, завезенных неведь когда и зачем. Кто-то что-то

хотел строить, да расхотел, а терпеливый пупырчато-корявый бетон на траве уже который год дожидался своего неверного хозяина. За этим штабелем Аскольд Софронович и вознамерился получить свой заслуженный «туесок».

А вечер был тих, прелестен. Ещё только-только начинали отстаиваться сумерки. Высокие перья облаков подзолачивались и розовились прощальными лучами. Кусты и редкие деревья на пустыре в остывающем воздухе виднелись чёткими, сочными, как вырисованными гуашью. Даже сивый латаный асфальт, исхлётанный за день шинами и каблуками, копил в себе отдохновенную свежесть вечера, был приятен глазу.

Аскольд Софронович остановился и, расслабленно потягивая свой привычный «Кемел», созерцал эту спокойную, трогательную красоту. У полковника была чувствительная натура. Но за созерцаньем, он не забыл окинуть профессиональным глазом дорогу, пустой тротуар, малолюдную окрестность: нет ли чего подозрительного. Не подозрителен ли он сам здесь. Нет. Его неброский «Опель», приткнувшийся к обочине, не мог никого заинтересовать. Ну разумеется. Не на ультрамариновом «Порше» было же ему сюда приезжать.

Ультрамариновый «Порше», недавно

купленный на айсберговые денежки, был оформлен на сына, промышляющего торговым бизнесом. Для сыночка же, для его неминуемой нежной семьи, для престижа имиджа обставилась антиквариатом шестикомнатная квартирка. Для него же, для того же достраивается на уютном черноморском побережье трёхэтажный коттедж с бассейном, теннисным кортом и подземным гаражом. А что? Сам сыночек и строит на свои потно-лице-трудовые. А сколько он зашибает — поди проверь. Поди докажи, что и тут — «айсберг». Всё шито.

Вот и дочка заканчивает столичный университет международной торговли, недолго час — выпорхнет замуж. Надо ж по-людски и ей обновить, обэкзотичить иномарку, чтоб без обид. И ей изысканное гнёздышко воспотребуется, и ей серьёзное приданное положится; чтоб видели, кому должно видеть — не голодранка. Что ж, одолеем и это. И ещё много чего одолеем. Чадолюбив был Аскольд Софронович, не скупердьяничал во имя родного семени.

Для себя же с супругой — пока удовольствовался демократичным «Оппелем», умеренной дачей и стандартной четырёхкомнаткой, обставленной не нище, но без лишнего выпендрёжа, в соответствии трём полковничьим звёздам на погоне.

Пока... А там — придёт время — помыслим: не купить ли для грядущего заслуженного отдохновения добротный кусочек рая где-нибудь в ласковой Адриатике или на романтической Ривьере?.. Всё по силам нам... Коли не стало — так станет.

Насчёт же «ндравственности»-морали-долга? Давно, давно не тема. Никому ничего он не должен. Это ему слегка задолжало данное развесёлое государствико. Он всего лишь берёт своё. Ему полагающееся. Один он? Умные и крепкие берут своё. Справедливо. Правила игры, господа. Время такое.

Время «айсбергов». Только дураки и святоши-лицемеры сего не видят.

Такими «рассуждизмами» баловался Аскольд Софронович в поджидании линялого конька-горбунка, «Запорожца». В запасе ещё десяток минут, прибыл он сегодня нерационально рановато. Окинув ещё раз центр программы — белесый штабель бетона — он вдруг обнаружил на нём целых две нежелательности: невесть откуда взявшихся парня и девку. Девка сидела на верхнем блоке. Парень стоял внизу и, размахивая руками, что-то ей говорил.

— Т-твою!.. — обеспокоился Аскольд Софронович, — Охламоны, нашли место для трепотни. Ни раньше — ни позже.

Он цепко понаблюдал за приبلудной

парочкой. А ну как, парочка непроста?.. непроста? Да нет, всё чисто. Профессионалу полковнику ли не знать, как делаются, как выглядят подобные «непроста». Обычная пошлая случайность.

Парочка занималась сама собою, ни на что не обращала внимания, и до полковника ей явно не было никакого дела.

Зато полковнику было дело до них. Через считанные минуты за штабелем должен оказаться «туесок». Праздных свидетелей ему сейчас не хватало.

Аскольд Софронович кратко задумался. Сделать отбой на сегодня? Не рисковать? Отъехать подальше, встать поукомпнее. «Запорожец» тоже проедет мимо — сориентируется в ситуации. Потом — созваниваться, объясняться, договариваться о новом времени, новом месте. Морока. Потери драгоценного времени. И из-за кого? Он ещё раз зло-пристально взгляделся в парочку. Девка по-прежнему сидела на верхнем блоке, болтала ногами, смеялась, глядя на парня. Парень продолжал о чём-то трепаться, жестикулировать.

Из-за двух сопливых влюблённых!..

Мощная полковничья интуиция толкнула его в бок и строго сказала: — В самом деле, какого хрена! Чести не много ли для этой шелупени?

Аскольд Софронович вышел из машины и решительно направился к штабелю. Внешне

Аскольд Софронович мог кому угодно внушить почтение. Даром, что под пятьдесят. Тренированные мышцы приятно распирали тонкую тенниску. Твёрдо впечатывался в обочинную пыль сорок пятый размер кроссовок. Прочные, обтянутые крутой волей скулы, сталистый, привыкший к беспрекословью взгляд.

— Добрый вечер, сеньоры, — сказал он, подходя к парочке.

Парочка, на ближний рассмотр, что-то не очень была гармонична. «Парень» — не намного моложе самого Аскольда Софроновича. Пожухлый, подлысевший некто. В смысле — никто. Глаза, озабоченные фактом своего существования. Лоб, отягчённый пожизненно длинной мыслию. «Какой-нибудь околонаучный работник серой штамповки? Или стерилизованный педагог?»

А чернявая девка в джинсах была на удивленье хороша, сильно контрастируя с «подлысаком». Попка, талия, бюстик, мордашка — всё отменного исполнения.

А глазки-то и совсем — ого-го! И, главное, что-то такое поплёскивалось в глазках. Ох, поплёскивалось! С этакой стервкой он и сам не отказался бы... А? Прямо тут бы, на бетончике... Однако развивать далее эту интересную мысль, облекать её в зримо-художественные образы Аскольду Софроновичу было некогда.

— Господа, очень не хотелось бы вторгаться в вашу счастливую личную жизнь, но должен со всей ответственностью предупредить — штабель заминирован. Одно неосторожное движение — и всё взлетит к небесам. Поэтому вам надлежит срочно эвакуироваться в более безопасное место.

— Спасибо, — засмеялась чернявая, сверкнув глазами, — Мы не боимся мин.

— А вы кто? Диверсант-любитель? — поинтересовался «подлысак».

— Нет, — строго сказал Аскольд Софронович, — Профессионал. Ценю вашу отвагу, но повторяю своё предложение. Чтобы сегодняшней доброй вечер для вас и далее оставался добрым...

— Нам здесь нравится, — нахально-весело заявил «подлысак». А вы тоже располагайтесь, места всем хватит.

Аскольд Софронович терял терпение. На щеках его обозначились желваки. Времени, времени не было рассусоливать. Да и перед кем...

— Ой, как плохо, когда непонятливые! — покачал он головой, подошёл к «подлысаку» очень близко, вбуравил в него свой легированный служебный взгляд, ласково взял за воротничок, — Для непонятливых плохо. Ты! Третий раз тебе... Последний. Забирай свою подружку и брысь отсюда. Желательно, без оглядки. Пока я добрый